

Константин Николаевич Леонтьев

Мое обращение и жизнь на св. Афонской Горе

Константин Леонтьев

Мое обращение и жизнь на св. Афонской Горе[1]

I

Однажды на Афоне я разговаривал с отцом Иеронимом о тех неожиданных внутренних переменах, которые я в себе ощущал по мере того, как вникал всё больше и больше в учение Православной Церкви. Эти перемены и новые ощущения удивляли и радовали меня. Разговаривая так, я дошёл до мысли, что было бы полезно поделиться когда-нибудь с другими этой историей моего «внутреннего перерождения». Отец Иероним согласился, но прибавил: «При жизни вашей печатать это не годится. Но оставить после себя рассказ о вашем обращении — это очень хорошо. Многие могут получить пользу, а вам уже тогда не может быть от этого никакого душевреждения». Потом он, весело и добродушно улыбаясь (что с ним случалось редко), прибавил: «Вот, скажут, однако «а Афоне какие иезуиты: доктора, да ещё и литератора ны-

нешнего обратили».

Это о действительной, автобиографической моей исповеди. Но, с другой стороны, он же находил, что можно написать и роман в строго православном духе, в котором главный герой будет испытывать в существенных чертах те же самые духовные превращения, которые испытывал я. Роман такого рода он благословлял напечатать при жизни моей, потому что многое во внешних условиях жизни было бы изменено и не было бы ясно: я ли это или не я. Мысль эта пришла мне самому, а не ему, но он её охотно одобрил, находя, что и эта форма, как весьма популярная и занимательная, может принести пользу как своего рода проповедь.

Эти беседы мои с великим афонским старцем происходили в 72 или в 71 году. С тех пор в течение восемнадцати лет я постоянно думал об этом художественно-православном труде, восхищался теми богатыми сюжетами, которые создавало моё воображение, надеялся на большой успех и (не скрою) даже выгоды. Радостно мечтал о том, как могут повториться у других людей те самые глубочайшие

чувства, которые волновали меня, и какая будет от этого им польза и духовная, и национальная, и эстетическая. Все это я думал в течение 18 лет; думал часто; думал страстно даже иногда; думал, не сделал. Я ли сам виноват, обстоятельства ли (по воле Божией) помешали, не знаю. «Искушение» ли это было или «смотрение Господне», не могу решить. Мне приятнее, конечно, думать, что это было «смотрение», двойко приятнее: во-первых, потому что это меня несколько оправдывает в моих собственных глазах («Богу не угодно было»; «обстоятельства, видимо, помешали»); приятно думать, что хоть в этом не согрешил перед Богом и перед людьми. И ещё приятно не по эгоистическому только чувству, но и по той «любви» к людям, о которой я никогда не проповедовал пером, предоставляя это стольким другим, но искренним и горячим движениям которой я, кажется, никогда не был чужд. Близкие мои знают это.

В чём же любовь? Хочется, чтоб и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращённого, сладострастного до-

нельзя, до утонченности, стал верующим христианином и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно-сатанинскую когда-то фантазию.

И победа духовного (мистического) рассуждения и чувства над рассуждением рациональным, к которому приучили меня и дух века, и в особенности медицинское воспитание, и моё пристрастие смолоду к естественным наукам, эта победа тоже стоит внимания.

Что может больше повлиять в этом смысле: хороший, удачный роман или откровенная, внимательно написанная автобиография?

Воображая себя на месте нетвёрдых в христианстве, полуверующих читателей (это, кажется, самый верный прием), думаю, что автобиография. Хороший, завлекательный роман, идеалистический, высокий по замыслу и направлению, и вместе с тем в подробностях реально написанный, может, конечно, иметь большое влияние. И тем более, что у нас ис-

тинно-православных художественных произведений вовсе нет. Считать «Братьев Карамазовых» православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным Православием, с христианством Св. Отцов и старцев афонских и оптинских.

Но, во-первых, ещё вопрос: хорошо ли я написал бы его? Хорошо ли в смысле доступности общему вкусу? Ни одна из моих повестей, ни один из моих романов не только не имели шумного успеха, но и не заслужили ни одной большой журнальной основательной критической статьи (хотя все они, эти романы и повести, были, по крайней мере, оригинальны, не похожи ни на Тургенева, ни на Л. Толстого, ни, тем более, на Достоевского). Все отзывы были краткие, как бы мимоходом; Даже и самые похвальные популярности моей не увеличивали. Издавать их на свой страх никто не чувствовал особой охоты; это было так постоянно, что и я давно совершенно охладел к таким изданиям и мало думаю о них.

Опять скажу: я ли не умел заинтересовать большинство читателей; обстоятельства ли сложились странно и невыгодно, не знаю; но

если в течение 28 лет (от 61 года, например) человек напечатал столько разнородных вещей в повествовательном роде и иные из них были встречены совершенным молчанием, а другие заслужили похвальные, но краткие и невнимательные отзывы, то что же он должен думать? Что-нибудь одно из трёх: или что он сам бездарен, что у него вовсе нет настоящего художественного дара; или что все редакторы и критики в высшей степени недобросовестные люди, что даже те почитатели и друзья его, которые на словах и в частных письмах превозносят его талант, тоже недобросовестны и нечестны или беззаботны по-русски в литературном деле; или, наконец, что есть в его судьбе нечто особое.

На каком взгляде из трёх христианину полезнее и правильнее остановиться в моём частном случае?

Признавать мне себя недаровитым или недостаточно даровитым, «не художником» это было бы ложью и натяжкой. Это невозможно. Этого я никогда ни от кого не слышал. Такого решения и смирение христианское вовсе не требует. В известные годы, созревши

вполне и с огромным запасом житейского опыта, человек не может даже не сознавать (одного сравнения достаточно), что он добр, например, храбр, искусен в чём-нибудь, умён, физически силен, красив и т. д. Это всё дары Божий, и как таковые все они и отъяты могут быть Богом же или, и сохраняясь даже, не принести, однако, человеку для загробной его жизни ни малейшей пользы и даже могут принести вред, если будут не по учению благодати развиты и направлены.

Не физиологическое смирение нужно, а духовное. Не нам, не нам, Господи, а имени Твоему!

Других всех, даже друзей и почитателей своих, считать людьми легкомысленными или недобросовестными, это было бы не только грешно и нечестно, но даже и глупо! Какой вздор! Я мог бы назвать здесь многих. И стоило бы только назвать некоторых из них, чтобы обвинение в легкомыслии и недобросовестности оказалось невозможным. От некоторых из них я видел столько добра, что, кроме самой живой признательности к ним, ничего не чувствую. Однако и из них многие не

сделали для моего имени, для успеха моих сочинений того, что они могли бы сделать.

Могли бы!.. Могли ли? Вот главный вопрос. Вот он! А если не могли?

Есть разные критерии возможности или возможного. Превосходный практический врач, например. При благоприятных условиях и с моей и с его стороны он мог бы меня вылечить скорее и лучше всех других. Но он сам был болен и не выезжал, когда я был с ним в одном городе; он выздоровел и стал опять практиковать, а я незадолго перед тем уехал, и мы не встретились. Он бы и мог, да вот не мог же. Хотя и знал меня, и жалел, и хотел бы вылечить, но Богу не угодно было, чтобы он меня лечил. Почему же? Этого мы не знаем. Пути Господни неисповедимы.

Если бы я умер; если бы никто другой, кроме этого врача, не смог меня излечить, а ему нельзя было ездить ко мне, тогда судьба моя была бы понятна: я должен был умереть. Но я неожиданно вылечился в другом месте и у других врачей. Для чего же мы не могли тогда видаться? И т. д. Я мог бы привести множество подобных примеров из моей литератур-

ной жизни. Многие люди могли бы сделать много для моего прославления; они, видимо, сочувствовали мне, даже восхищались; но сделали очень мало. Неужели это явная недобросовестность их, или моё недостойнство? Да! Конечно, недостойнство, но духовное, греховное, а не собственно умственное или художественное. Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его; вот как я приучил себя понимать свою судьбу. Не будь целой совокупности подавляющих обстоятельств, я, быть может, никогда бы и не обратился к Нему...

Не нужен, не «полезен» мне был при жизни такой успех, какой мог бы меня удовлетворить и насытить. Достаточно, видно, с меня было «среднего» *succes d'estime*, и тот пришёл тогда, когда (сравнительно с прежним) я стал ко всему равнодушнее. (Полного равнодушия не смели приписывать себе и великие аскеты; по свидетельству отца Иеронима, борьба с самолюбием даже у афонских пустынных, живущих давно в лесу или пещерах, самая упорная из всех. Деньги им уже не нужны; к молитве постоянной и телесным подвигам

они себя давно приучили, чувственность слабеет с годами; но с самолюбием до гроба и этим людям приходится бороться!).

И убедившись в том, что несправедливость людей в этом случае была только орудием Божьего гнева и Божьей милости, я давно отвык поддаваться столь естественным движениям гнева и досады на этих людей. Человек может быть прав житейски, но он духовно грешен, и Бог неправедною рукой ближнего, как будто бы с вида ни за что, ни про что, наказывает и смиряет его.

Я не раз говорил с людьми духовного разума о том, обязан ли человек во всяком случае считать себя неправым, а ближнего правым? Все они отвечали согласно: «Нет, не во всяком случае неправым, но во всяком случае перед Богом чем-нибудь да грешным!». Итак, видимо, Богу было неуютно, чтобы сочинения мои имели успех. С какою же целью в таком случае я буду писать роман? Почему же я при таком убеждении предпочту его посмертной автобиографии? При последнем выборе есть ещё надежда на большой успех; на успех романа нет у меня надежды, как бы он

ни был хорош. Но на что же мне этот по-
смертный успех? Мне, человеку верующему в
вечность небесного и бренность земного? Не
для себя, а для других. Ни избрание сердца, ни
долг справедливости не запрещены нам. (...)

Автобиографические, искренне написан-
ные воспоминания всегда внушают больше
доверия, чем роман.

Романист может иногда, не веруя сам, пре-
восходно изобразить верования другого лица.
Тургенев прекрасно изобразил чувства Лизы
Калитиной (в «Дворянском гнезде»); Л. Тол-
стой истинно и правильно — религиозное на-
строение княжны Марии («Война и мир»);
Эмиль Золя в «Проступке аббата Муре» до то-
го правильно и глубоко анализировал духовную
борьбу молодого священника, что если устрани-
ть из этого изображения некоторые особые
душевные оттенки, свойственные исключи-
тельно католичество, то в истории этой борь-
бы и православный монах может при сход-
ных условиях узнать самого себя. Творчество
Золя в этом случае гораздо ближе подходит к
духу истинного личного монашества, чем по-
верхностное и сентиментальное сочинитель-

ство Достоевского в «Братьях Карамазовых». Лично у меня нет никакого сомнения, что Достоевский в то время, когда взялся писать «Карамазовых», гораздо ближе начинал подходить по роду верований своих к церковно-право-славному христианству, чем Золя в то время, когда он писал свой роман. Золя настолько уже прославился, что если бы он ходил на исповедь к пастору и причащался, то мы бы давно об этом узнали, как узнали, что материалист Поль-Бер скончался покаявшимся католиком. Про Достоевского же мы знаем, что он говел и причащался; и хотя это ещё не вполне доказывает, что человек действительно (наедине с самим собою и Богом) чувствовал и думал о вере совершенно правильно, однако всё-таки и это имеет некоторый вес.

Я хочу этим сказать, что художественное творчество может быть обманчиво. Человек мог верить смолоду очень живо или иметь поздние временные возвраты к Церкви, временные колебания и теплые порывы к вере отцов. Он помнит прекрасно все эти чувства свои; учение в общих его чертах он знает, он дополнил чтением то, чего он не знал или о

чём забыл. Он был знаком в жизни с истинно-религиозными людьми, беседовал, спорил с ними; не забыл их доводов, их возражений. Совокупность этих впечатлений такова, что при некотором усилии творческого воображения и неверующий романист может чрезвычайно верно изобразить не только поступки или речи своего религиозного героя, но и самую сокровенную последовательность его помыслов.

Но внушает ли это ту степень фактического доверия, какую желательно бы внушить неутверждённым людям? Конечно, не внушает.

Надо, чтобы читающий верил, что я сам верю... Я пишущий; я живой, реальный, современный ему человек, человек, выросший в среде, сходной по воспитанию и впечатлениям со средою самого читающего.

Искренность личной веры чрезвычайно заразительна. Я знаю это по опыту, ибо и на меня в своё время имели другие большое влияние этою искренностью.

Многие, конечно, не допускают и мысли, чтобы образованный человек нашего време-

ни мог так живо и так искренне верить, как верит простолюдин по невежеству. Но это большая ошибка! Образованный человек, раз только он перешёл за некоторую, ему понятную, но со стороны недоступную черту и мысли, может веровать гораздо глубже и живее простого человека, верующего отчасти по привычке (за другими), отчасти потому, что его вере, его смутным религиозным идеям никакие другие идеи не помешают.

Побеждать ему нечего; умственно не с кем бороться. Ему в деле религии нужно побеждать не идеи, а только страсти, чувства, привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жадность, пьянство, распутство, лень и т. п. Образованному же (а тем более начитанному) человеку борьба предстоит гораздо более тяжёлая и сложная, ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми этими перечисленными чувствами, страстями и привычками, но, сверх того, ему нужно ещё и гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению Церкви; нужно и стольких великих мыслителей, учёных и поэтов, которых мнения и сочувствия ему так

коротко знакомы и даже нередко близки, тоже повергнуть к стопам Спасителя, апостолов, Св. Отцов и, наконец, дойти до того, чтобы, даже и не колеблясь нимало, находить, что какой-нибудь самый ограниченный приходский священник или самый грубый монах в основе мирозерцания своего ближе к истине, чем Шопенгауэр, Гегель, Дж. Ст. Милль и Прудон... Конечно, до этого дойти нелегко, но всё-таки возможно при помощи Божией. Нужно только желать этого добиваться; мыслить в этом направлении, молиться о полной вере ещё и тогда, когда вера не полна. (По опыту говорю, что последнее очень возможно и даже не трудно; достаточно для этого быть сначала, как многие, деистом, верить в какого-то Бога, в какую-то высшую живую Волю). Раз это чувство есть, раз есть и в уме нашем это признание, нетрудно хоть изредка, хоть раз в день, хоть при случае, с глубоким движением сердца воскликнуть мысленно. «Боже всемогущий! Научи меня правой вере, лучшей вере! Ты всё можешь! Я хочу веровать правильно; я хочу смириться перед верой отцов моих. Если она правильнее всех других,

покажи мне путь; научи меня этому смирению! Подчини ей мой ум! Сделай так, чтоб этому уму легко и приятно было подчиняться учению Церкви!».

И всё это понемногу придёт; придёт иногда незаметно и неожиданно. «Просите и дастся вам!»

Раз же мы переступим сердцем ту таинственную черту, о которой я говорил выше, то и сами познания наши начнут помогать нам в утверждении веры. Все атеисты или антитеисты нам послужат, и даже чем самобытнее мы сами, чем мы способнее скептически отнестись ко всем величайшим приобретениям науки и вообще ума человеческого, тем менее могут авторитеты этой науки и этого ума помешать нам смиряться и склоняться перед тем, перед чем мы сами хотим, не обращая даже никакого внимания ни на Руссо и Вольтера, ни на Гегеля и Шопенгауэра, ни на Фохта и Фейербаха...

За эту таинственную чертой всё начнёт помогать вере, всё пойдёт во славу Божию, даже и гордость моего ума! «Что мне за дело до всех этих великих умов и открытий! Я всё это

давно знаю! Они меня уже ничем не удивят... Я у всех этих великих умов вижу их слабую сторону, вижу их противоречия друг другу, вижу их недостаточность. Может быть, они и умом ошиблись, не веруя в Церковь; математически не додумались... упустили из вида то и другое... И если уж нужно каждому ошибаться, то уж я лучше ошибусь умом по-своему, так, как я хочу, а не так, как они меня учат ошибаться... Буду умом моим ошибаться по-моему; так ошибаться, как мне приятно, а не так, как им угодно, всем этим европейским мыслителям! .. А мне отраднее и приятнее ошибаться вместе с апостолами, с Иоанном Златоустом, с митрополитом Филаретом, с отцом Амвросием, с отцом Иеронимом Афонским, даже с этим лукавым и пьяным попом (который вчера ещё, например, раздражил меня тем-то и тем-то), чем вместе со Львом Толстым, с Лютером, Гартманом и Прудоном... Сами молодые философы наши, Грот, например, признают умственные, философские права чувства.

Вот как и гордость моего ума может привести ко смирению перед Церковью. Не верю в

безошибочность моего ума, не верю в безошибочность и других, самых великих умов, не верю тем ещё более в непогрешимость собирательного человечества; но верить во что-нибудь всякому нужно, чтобы жить. Буду же верить в Евангелие, объяснённое Церковью, а не иначе.

Боже мой, как хорошо, легко! Как всё ясно! И как это ничему не мешает: ни эстетике, ни патриотизму, ни философии, ни неправильно понятой науке, ни правильной любви к человечеству.

II

Был ли я религиозен по природе моей?

Было ли воспитание мое православным?

Стараюсь как можно точнее припомнить детство своё. Вспоминаю всё, что только могу вспомнить и о близких моих, и о самом себе, и говорю себе нерешительно: да и нет!

Дом наш, вообще сказать, не был особенно набожным домом. Отец мой был, кажется, равнодушен к вере; я не помню, чтоб он ездил в церковь; не помню, чтоб он говел; хотя знаю, что духовником его был не тот священ-

ник, который исповедовал мою мать, тётку, сестру и меня. У нас у всех сначала духовником был отец Лука, священник села Быкасова, а когда он скончался, то мы все стали говеть в селе Велине у отца Дмитрия, который только недавно умер почти 80 лет. Я не помню, чтоб отец говел; но, умирая, он причащался, и на похороны его приглашён был вместе с приходским (щелкановским) духовенством священник села Чемоданова. Тогда говорили: «Надо за духовником его послать». Лет мне было тогда восемь (или девять), я ко всему этому относился очень невнимательно, потому что к самому отцу и к его смерти был совершенно равнодушен. Произвело на меня довольно сильное впечатление только то, что у чемодановского священника риза на похоронах была сшита из разных шёлковых кусков, треугольников, как шьются одеяла, и ещё, что ни у кого я не видал так много мелких морщинок поперёк лба, как у отца Афанасия (кажется, его так звали). Отец жил давно особо, не с нами, в небольшом флигеле, бедно убранном; в нём он заболел ужасною болезнью (miserere), в нём умер, в нём и лежал на

столе в довольно тесной комнате. Это было зимой, и так как хоронить его желали в Мещовском монастыре, то сборы были долгие; лежал он около недели, и под столом стояли корыта со льдом. Около этого стола во время панихиды теснилось духовенство, едва помещаясь и толкая друг друга. Щелкановский дьякон, человек, которого лицо мне казалось тогда очень грубым и даже злым, как у разбойника, раза два оттолкнул очень грубо чемодановского батюшку в лоскутной ризе, и священник, обернувшись, посмотрел так грустно и жалобно, и морщинок на лбу у него сделалось так много, что мне стало его очень жалко. И родные мои говорили с сожалением: «Какие бедные облачения у чемодановского причта! Просто жалость глядеть!».

Вот всё, что у меня сохранилось в памяти о похоронах отцовских. В Мещовск повезли его хоронить тётка с сестрой, я остался с матерью дома и очень хорошо помню, что ничуть не горевал и не плакал. Относительно религии отцовской помню ещё два случая. Один вовсе ничтожный, другой поважнее. Принесли к нам как-то раз летом чудотворную икону Свя-

тителя Николая из села Недоходова. Мы все вышли встречать её. Отец первый приложился, прошёл под нею, согнувшись с большим трудом, так как он был очень велик и толст. Помню его пестрый архалук из термаламы и как развевались белые волосы его от ветерка над лысиной. Потом все стали тоже проходить под икону, и мне это очень понравилось почему-то. Не помню, проходила ли мать моя. Мне кажется, что нет: она не любила в точности исполнять обряды. Если бы она проходила, то я верно этого не забыл бы; я так её любил и так охотно на неё любовался! (Она была несравненно изящнее отца, и для меня это по врожденному инстинкту было очень важно!). Я упомянул об этом потому, что только раз и помню отца исполняющим обряд. Что он когда-нибудь да говел, видно из того, что у него оказался духовник в последнюю минуту. Но я не сохранил в памяти ничего больше об его религиозности, может быть, и потому, что я был очень равнодушен к нему и мало им занимался. При утренней встрече поцелую руку, вечером подойду под благословение и тоже поцелую руку, и больше ничего. И он

мною и моим воспитанием вовсе не занимался.

Другое обстоятельство было немного поважнее. Когда в первый раз семи лет я пошёл исповедоваться в большую нашу залу к отцу Луке (быкасовскому), и тётка мне велела у всех просить прощение, то я подошёл прежде всего к отцу; он подал мне руку, поцеловал сам меня в голову и, захохотавши, сказал: «Ну, брат, берегись теперь... Поп-то в наказание за грехи верхом кругом комнаты на людях ездит!»

Кроме добродушного русского кощунства он, бедный, не нашёл ничего сказать ребенку, приступавшему впервые к священному таинству!

По всему этому видно, что отец мой был из числа тех легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей (и особенно прежних дворян), которые и не отвергают ничего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не умён, и не серьёзен.

Совсем иного рода было влияние матери.

Про неё можно сказать так: она была религиозна, но не была достаточно православна

по убеждениям своим. У неё, как у многих умных русских людей того времени, христианство принимало несколько протестантский характер. Она любила только ту сторону христианства, которая выражается в нравственности, и не любила ту, которая находит себе пищу в набожности. Она не была богомольна; постов почти вовсе не соблюдала и нас не приучала к ним, не требовала их соблюдения. Заметно было иногда, что она немножко даже и презирала слишком набожных людей. Например, она нередко с пренебрежением употребляла слова «ханжа», «ханжество» и т. д., тогда как истинно и по-православному верующий человек никогда этих слов и не позволяет себе употреблять; ибо никто не может знать, почему другой так заботлив о внешней обрядности; и как бы ни казался ему нравственно нехорош очень набожный ближний, он всегда ищет в сердце ему какого-нибудь оправдания, даже и не любя его лично. (Например: этот человек так много молится именно потому, что кается, что понимает сам, какой у него дурной характер; а это и есть смирение и т. д.).

Всё это, однако, касательно матери я стал соображать, конечно, позднее, но в детстве моём я был ей всё-таки гораздо более, чем отцу, обязан хорошими религиозными впечатлениями.

Молиться перед угловым киотом учила меня не мать, а горбатая тётушка моя Екатерина Борисовна Леонтьева, отцовская сестра. Но я помню хорошо, как сама мать молилась по утрам и вечерам. Когда незадолго до смерти отца 16-летнюю сестру мою Александру привезли в Кудиново из Екатерининского (Петербургского) института, то мать моя вместе с нею молилась у себя в кабинете по утрам, а я часто, ещё лежа на диване, слушал. Я рассказал об этом подробнее в другом месте (в воспоминаниях матери моей об императрице Марии Феодоровне). Не знаю, как бывает это у других, но у меня те чувства мои, которые соединились с какою-нибудь картиной, лучше сохранились в памяти. Помню картину, помню чувство. Помню кабинет матери, полосатый трёхцветный диван, на котором я, проснувшись, ленился. Зимнее утро, из окон виден сад наш в снегу. Помню, сестра, оборо-

тившись к углу, читает по книжке псалом: «Помилуй мя, Боже!» «Окропиши мя исопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит!». Эти слова я с того времени запомнил, и они мне очень нравились. Почему-то особенно трогали сердце.

Позднее, когда сестра стала старше, всё это изменилось; молитв у матери по утрам она больше не читала, потому что мать во всём дала ей больше противу прежнего воли. Но эти две первые зимы ежедневных утренних молитв не прошли для меня без следа. И когда уже мне было 40 лет, когда матери не было уже на свете, когда после целого ряда сильнейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и поехал на Афон к русским монахам, то от этих утренних молитв в красивом кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад и от этих слов псалма мне всё светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, любимый и тёплый свет. Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии. А любовь мо-

жет снова возжечь в сердце и угасшую веру. Любя веру и её поэзию, захочется опять верить. А кто крепко захочет, тот уверует. В детстве есть такие минуты, в которые мы более, чем в другие минуты, готовы к приятию сильных и глубоких впечатлений. Эти минуты очень редки, и потому мы вообще из детства нашего немного хорошо помним. Последовательно не помним ничего, а всё в виде отдельных и мгновенных образов. Очень часто даже бывает, что случаи, возбудившие в детском уме особое внимание, вовсе не важны сами по себе, но, вероятно, какие-нибудь психические сочетания в эту минуту в высшей степени благоприятны для восприятия и сохранения впечатлений. Я рос, например, в деревне; мог ли я не видеть каждую зиму снега в саду, каждое лето цветов, полей, засеянных хлебами, птичьих гнёзд и т. д.? Конечно, видел всё это с первых лет жизни и постоянно. Отчего же снег в саду или сад в зимнем уборе я запомнил только в один какой-то раз, в одно какое-то утро, когда я, лёжа на диване, слушал слова псалма? Положим, что тут ещё была особая причина: совпадение слов псал-

ма с картиною, видной мне из окон («Омыши мя и паче снега убелюся»). Но почему я в какой-то светлый летний день, именно в этот день, в этот раз, а не в другой, узнал впервые, какая разница между овсом, ячменём, пшеницей и рожью? Быть может, и прежде их показывали, однако я на всю жизнь сохранил память об одном этом только случае. Светлый день; голубое небо; я иду с тёткой в поле, и она мне срывает колосья и показывает разницу. Почему ещё я о цветах ничего не помню до той минуты (именно минуты), когда я (5 или 6 лет, а может быть и 7 даже) подхожу к большому круглому столу в кудиновской гостиной и вижу на нём вазу с ранними цветами? В этот день, 18 мая, именины сестры, недавно взятой из института; я вижу в этой вазе только три сорта цветов: белые и лиловые. Я спрашиваю, как их зовут, и мне говорят: «Это сирень, это нарциссы, а это тёмно-лиловые ирисы». Неужели я прежде не видал этих цветов и не говорил о них? Наверное, и видал и говорил. Однако только с этой минуты у меня явилось и осталось на всю жизнь ясное, сознательное представление о

первых красотах весны и лета, о том, что цветы в вазе на столе это что-то весёлое, молодое, благородное какое-то, возвышенное... Всё, что только люди думают о цветах, я стал думать лишь с этого утра 18 мая. И с тех пор я не могу уже видеть ни ирисов, ни сирени, ни нарциссов даже на картине, чтобы не вспомнить именно об этом утре, об этом букете, об этих именинах сестры (других её именин я вовсе не помню). Вспоминаю всегда и о ней самой, об её довольно весёлой и оживлённой молодости, о нашей тогда дружбе и о позднейшей её весьма нерадостной судьбе и незначительной жизни.

В этом же роде я могу припомнить, при каких обстоятельствах я ясно сознал и запомнил, что такое парящий в небе ястреб или орёл. И многое я могу привести в этом роде на память, чтобы доказать, что неизгладимые следы в памяти нашей зависят не столько от важности самого случая или события, сколько от нашей готовности воспринять глубоко то или другое впечатление. Есть много вещей гораздо более замечательных и важных в нашей жизни, о которых мы или вовсе не пом-

ним и вспомнить и вообразить их даже с помощью других не можем, или забываем вовсе до тех пор, пока не увидим какой-нибудь давно не виданный предмет, относящийся к тому времени: письмо, книгу, портрет, мебель, дорожку в саду или в поле и т. д.

Например, когда в 70 году Маша, возвратившись от меня из Турции, сказала моей матери, что я, несмотря на все последние удачи мои по службе, стал очень тосковать и думать о том, чтобы кончить жизнь мою в монастыре, мать приняла это очень спокойно и сказала ей: «Это странно! Когда я его маленьким возила раз в Оптину, ему так там понравилось, что он мне сказал: «Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь». Я же не только этих слов моих, но и самой поездки в Оптину вовсе не помню и вспомнить не могу. И мать моя до этого разговора с Машей никогда об этом случае не упоминала ни без меня, ни при мне. Такого важного обстоятельства моей детской жизни я вовсе не помню, а из числа менее важных и поразительных случаев я в течение всей моей жизни беспрестанно вспоминал о том, что первый

раз, когда я помню мать мою ясно и хорошо, это было в один день её причащения. Я её поздравил. Было это вот так. Тётка сказала мне: «Поздравь маменьку, она причащалась сегодня. Я вышел в залу, в которой мать моя наигрывала что-то на фортепиано, и подошёл к ней. Если я скажу просто: «Мать нагнулась ко мне и поцеловала меня с улыбкой», это будет со всем не то, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что ни прежде ни после (в течение долгого времени) этого полудня я не помню лица моей матери в эти годы. Тогда ещё у неё не было морщин; я их не помню вовсе, по крайней мере, в эту минуту когда она, сидя у фортепиано, с нежною улыбкой нагнулась поцеловать меня, у неё было именно такое красивое, моложавое и приятное лицо, как на акварели Соколова в круглом чепце и красном шелковом платье с воздушными рукавами. Только платье у неё было другое, белое кисейное с голубыми горошками. Не могу сказать и сам не могу понять, что на меня так сильно подействовало в этот краткий миг, но могу уверить, что я никогда не забывал его. Когда я вспоминал что-нибудь о детстве, или о любви

моей к матери, или о днях св. причащения, это мгновение одним из первых представлялось мне. После 20 лет я стал сочинять повести и романы. Иногда нужно мне было вообразить для них образованную, благовоспитанную, изящную и не старую ещё мать! И тотчас же мне представлялось, что мой герой видит свою молодую мать после причастия в зале за фортепиано и непременно в кисейном белом платье с голубыми горошинками. Мне не пришлось нигде этого написать, ибо великое множество задуманного мною от 20 до 58 лет я написать не мог; но мне всегда казалось, что если придётся изображать такую молодую мать то непременно надо её представить в таком платье, иначе читатель будет менее будто бы тронут, как будто образ, на меня действующий, должен и на него точно так же подействовать.

Сам по себе этот случай, положим, мало объясняет главный вопрос, было ли моё воспитание православным или нет, но мне кажется, что он имеет вот какое значение: хорошо, чтобы в детских воспоминаниях религиозное соединялось с изящным. Чувство будет

сильнее, полнее. Приятнее будет вспоминать.

Если я теперь начну внимательно припоминать всё, что могу, относительно религиозного влияния на меня матери моей во время детства и отрочества, лет до 17—18, то мне придётся сказать, что вообще оно было средней силы; она не вредила мне с этой стороны, но и не давала мне большой пользы. Остались у меня в памяти очень приятные воспоминания о некоторых богослужениях, изредка о зимних всенощных в кудиновской длинной зале, которые производили на меня впечатление. Несколько раз мы с матерью ездили на зиму в Петербург, сперва чтобы видеть сестру в Екатерининском институте и старших братьев в корпусах, потом чтобы взять сестру из института, когда она окончила курс; потом ездили уже с сестрой вместе туда. В эти зимы в Петербурге мать моя гораздо чаще ходила с нами к обедне и ко всенощной, чем в деревне. В Петербурге я её видел несравненно более богомольною, чем в деревне. Причину я понимаю теперь, понимаю даже её чувство. «Народничества» или «простонародничества» тогда вовсе не было у дворян. Если и было, то

бессознательное и больше у тех, которые сами были «посерее», так сказать, и этим ближе к народу. Мать моя не любила «простого» народа; не любила толпы, тесноты и толкотни в храмах; принуждать себя много не находила нужды. Она хотела молиться для себя искренно, тепло; хотела молиться тогда, когда её сердце требовало молитвы. Она, видимо, была из тех людей, которые не признают важности долгого принудительного и тяжкого (почему бы то ни было тяжкого) присутствия в храме. Она хотела не почтительного повиновения уставу и обряду, искала не подвига послушного (и отчасти сухого) выстаивания даже при неудобных, отвлекающих или раздражающих условиях; она хотела молитвы горячей и покойной. Вот почему, я думаю, она некоторые петербургские церкви, особенно домовые, предпочитала не только деревенским, но и калужским, например. Когда я в течение 4-х с лишком лет учился в калужской гимназии (от 44 до 49-го?) и вся семья наша зимы проводила в Калуге, я не помню, чтобы мать моя часто ездила в церковь. А в Петербурге она часто бывала у обедни, особенно в

домовых церквах, или чаще всего она ходила и нас с сестрой водила в домовую церковь Института слепых. Ходили мы не с главной лестницы и не в самую церковь (самой церкви я даже ни разу и не видел)! Мы проходили через какое-то внутреннее крыльцо и по особой лестнице в просторную комнату с паркетным полом, из которой была боковая дверь в церковь. Богослужения видно не было из нее, но возгласы и пение были очень хорошо слышны. Через эту комнату проводили к началу обедни в церковь и самих слепых по два в ряд, в длинных сюртуках. (Помню, что смотреть на них мне было очень неприятно, какая-то физическая брезгливая жалость). Остальные же впечатления были мне, так приятны, что я даже раз или два отпрашивался у матери туда и без неё ко всеобщей. (Мне было тогда уже 11 — 12 лет). В этой зале или большой комнате с паркетным полом было очень чисто, светло и просторно; общество молящихся было избранное, не то чтобы исключительно знатное, но избранное в том смысле, что тогда в неё (не в самую церковь, всем предоставленную, а в эту боковую залу)

можно было входить только по знакомству или рекомендации. Тогда швейцар впускал. Здесь обедня начиналась поздно; все почти стояли у стен, никто друг другу не мешал, никто не толкался, не «протискивался» вперёд, не хватал рукой вас за спину или бок, чтобы оттолкнуть с места, никто не плевал на пол, не сморкался в руку, не «харкал». Можно было всегда достать стулья.

Здесь, я помню, мать усердно молилась, много крестилась, была сосредоточена, клала поклоны охотно, Великим постом даже и земные, не брезгая здесь полом, как брезговала во многих других местах. Боже мой! Как я стал после 40 лет, после жизни на Афоне, понимать её и даже сочувствовать ей! А было время, когда (между 20 и 40 годами) я не понимал её в этом и не сочувствовал ей.

По этому поводу, то есть по поводу церквей «всенародных», так сказать, «тесных и многолюдных», и церквей особых, «дворянских», что ли, домовых и т. п. можно, я думаю, написать целое психологическое рассуждение и разобрать подробно, какое разнородное значение имеют эти храмы для души христи-

анина Но я боюсь слишком далеко отвлечься этим рассуждением, а приведу только один разговор, который я имел в Москве в 70-х годах с Дмитрием Васильевичем Аверкиевым и его другом Антроповым (который написал «Блуждающие огни»). Мы разговаривали о чём-то, касающемся Православия, и мне случилось упомянуть, что я по субботам бываю у всенощной или на Моховой в той церкви, которая по правую руку от Охотного Ряда (названия не знаю), или в той, которая в самом Охотном Ряду выступом (тоже забыл; где отец Иоанн Виноградов), или ещё в маленькой дворцовой церкви, а по воскресеньям у обедни в университетской церкви. Аверкиев воскликнул: «Вот уж таких церквей, как университетская, не люблю! Мне нужна такая церковь, где мужик молится или стоит около меня какая-нибудь несчастная салопница с подвязанной щекой!» Я узнал тотчас же в этих словах моего умного и доброго собеседника мою собственную, прежнюю точку зрения, моё собственное объективное, так сказать, народничество 60-х годов. И мне когда-то (до жизни на Святой Горе) для пробуждения во

мне какой-то тени или подобия религиозных чувств нужен был пример людей низших по умственному развитию, сообщество существ более простых, более наивных, как говорится, ибо во мне самом была тогда только смутная любовь к вере, но самой веры не было. А когда пришла настоящая вера, мне уже вовсе не нужны стали для сильных религиозных чувств ни мужик, ни салоппница. Напротив того, они стали в храмах физически мне больше прежнего мешать. К 40-м годам здоровье моё сильно расстроилось, и для бедной, немощной плоти моей теснота в церкви стала слишком тяжела; толпа и теснота так развлекают и тревожат телесно, что я мог выдержать их только как подвиг, послушание, принуждение, а сосредоточиться уже не мог так отраднo и усладительно, как сосредоточивался на молитвенных и покаянных мыслях в такой церкви, где никто мне не мешал, никто меня не толкал, не хватал руками за спину, не сморкался около меня в руку и т. д.

Когда Аверкиев сказал мне о том, что он не любит таких церквей, как университетская, я тотчас же вспомнил о бедной (уже несколько

лет до этого умершей) матери моей, вспомнил об её брезгливости и нервности и о том «народничестве», которому я был так долго сам причастен и от которого более всего освободил меня Афон. И, вспомнивши обо всем этом, сказал Аверкиеву:

«Да, и я так думал и так чувствовал, пока сам не уверовал. И даже, помню, осуждал несколько мать свою покойную за её слишком брезгливую дворянскую веру. Она никогда почти в обыкновенные приходские церкви не ходила и не ездила, а выбирала всё такие, где было просторно, очень чисто и покойно. И мне когда-то казалось, что те светские дамы и образованные мужчины, которые ходят в такие «избранные» церкви, не веруют так искренно, как веруют те мужики и салопницы, о которых вы говорите. Но мне пришлось позднее сознать мою ошибку. Когда я сам стал чувствовать сильную потребность молитвы и присутствовать при совершении таинства, то мне для души народ стал менее нужен. А для тела больного и усталого стало нужнее спокойствие. Поверьте мне, Дмитрий Васильевич, та вера ещё не настоя-

щая, которая нуждается в этих воздействиях «простых людей». Это чувство, «мужики и т. п.», чувство хорошее; в нём смешаны чувство эстетическое с гуманным или со славянофильским, каким-то патриотическим, пожалуй, но это не настоящее чисто-религиозное, которое заставляет человека искать молитвы для себя и радоваться всему тому, что устраняет рассеяние и раздражение. На что народному, кто хочет для себя молиться? ..»

Аверкиева я находил всегда одним из самых добросовестных (умственно) людей в России; он на это не отвечал ни слова, и я видел по доброму и ясному выражению его лица, что он понял, если ещё не опытом сердца, то умом, правду мою и не находил нужным противоречить мне. Что касается Антропова, то он прямо сказал: «Я думаю, что вы правы!».

Конечно, если человек болезненный или очень брезгливый, подобно моей матери, понудит себя выстоять или даже отчасти и высидеть всюнощную или обедню в толпе и толкотне ревностных, но грубых и часто неопрятных простолюдинов, это будет с его стороны истинный подвиг, который ему и со-

чтётся (ибо понуждение зависит от нас, а умиление и радость молитвенная от Бога); можно похвалить его за это, поставить его при случае в пример, но избави нас Боже осудить такого человека за то, что он предпочитает домовые и просторные церкви церквам тесным и менее опрятным. Такова немощь его, зависящая от болезни, или от тонкого воспитания с ранних лет, или от чего-нибудь другого. И совсем не следует думать так, как думают многие, что вера простолюдина непременно лучше, чище и сильнее нашей веры. Это просто вздор. Из того, что один человек стоит около меня в старом зипуне и в лаптях и молится, а другой стоит в дорогом сюртуке от Бургеса или Lutun с Тверской, с хорошею тростью, и правою рукой крестится, а в левой, на которой французская перчатка, держит десятирублёвую шляпу, никак не следует, что вера первого лучше, чище, сильнее. Это ужасный вздор и вздор даже в высшей степени вредный, потому что такая точка зрения унижает религию, а не возвышает её.

— Я не верю религии моих образованных знакомых, но религии мужика, солдата, ме-

щанки и простого монаха верю.

На это надо ответить так: в этом случае ваше самомнение, ваша гордость берут верх над вашим умом. Это не мысль хорошая, объективно беспристрастная; это дурное чувство. Вы веру не ненавидите сами по себе. Вы ее даже уважаете и любите. Но сами вы не умеете верить, и вам завидно, что некоторые ваши знакомые умеют верить, дошли как-то до этого, а вы со всем вашим умом никак до этого дойти не могли. И вот вы допускаете, что те люди, которые не знают того, что вы знаете, не читали того, что вы читали, не жили барином, как вы жили, могут известным образом чувствовать, а люди, схожие с вами по воспитанию, привычкам, образованности, не могут иметь ни «страха Божия», ни веры в чудеса и таинства, ни упования на загробную жизнь, а непременно должны притворяться или обманывать самих себя, когда они ходят в церковь, причащаются, постятся и т. д... Вам досадно, вам не хочется признать, что эти люди, которых вы, может быть, не желаете ни в чём счесть выше себя, сумели развить в себе такие чувства, которые вам недоступны, и вы,

вместо того, чтобы обратиться к себе со строгим вопросом: «Всё ли я сделал, чтобы добиться такой веры», предпочитаете признать их какими-то притворщиками или фантазёрами от нечего делать. Это гордость и зависть, и больше ничего.

Вот что надо ответить таким людям. Такой образ мыслей допустим на время во всяком человеке, и умном, и хорошем, но упорствовать в нём прежде всего не умно, не глубокомысленно, не справедливо. Что за вера в своё рассуждение безусловно! Проповедовать же всё подобное, как проповедует гр. Л. Н. Толстой, это просто злодейство!

Что за ничтожная была бы вещь эта «религия», если бы она решительно не могла устоять против образованности и развитости ума!

Примечания

Публикуется по изданию: К. Леонтьев, наш современник. СПб., 1993. С. 200-217. ISBN 5-85555-008-7

[^^^]